

Часть 6. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ИСТОРИЯ ИСТОРИОГРАФИИ КАК АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Г.В. Бакус (Тверской ГУ)

Прошлое и ученая традиция в трактате Ульриха Молитора *De Laniis et Phitonicis Mulieribu*

Tantis historijs & auctoritatibus me impellis, vt ne sciam quorsum me vertam (Мне привели столько историй и авторитетов, что не знаю даже к которому обратиться) – эту жалобную реплику Ульрих Молитор вложил в уста эрцгерцога Сигизмунда Габсбурга, который был заявлен в качестве одного из персонажей трактата. Эта реплика весьма показательна; она исходит от светского властителя, оказавшегося в гуще полемики по одному из самых злободневных вопросов конца XV в. – ученой дискуссии о сущности злонамеренного колдовства (*maleficia*). Важно подчеркнуть, что дискуссия эта не являлась отвлеченным обсуждением умозрительных конструкций; напротив она возникает и развивается вокруг острой конфликтной ситуации, поводом к которой послужил скандал вокруг инквизиционной деятельности Генриха Инститориса в г. Инсбрук. Именно в этом проявляется специфика *De Laniis et Phitonicis Mulieribus*, поскольку позиция автора трактата демонстрирует некоторую двусмысленность: Ульрих Молитор настаивает на том, что *maleficia* – это проблема, наибольшая острота которой проявляется именно здесь и сейчас в силу своей злободневности и малоизученности, однако наиболее значимым ориентиром в системе доказательств «доктора права из Констанца» выступает античная и раннехристианская интеллектуальная традиция.

В Послании к эрцгерцогу Сигизмунду автор сочинения пишет, что «напасть неких ланий и жен-заклинательниц» (*pestis quarundam laniarum et incantatricum mulierum*) поразила землю его Превосходительства «в предшествующие годы» (*cum superioribus annis*). Из этого и возникают закономерные сложности в квалификации преступных деяний, а вместе с ними – повод для определенных амбиций Молитора (заявленных фразой «я в этом вопросе разумею» (*ego in ea re sentire*)). Основная задача, которую решает Молитор в своем сочинении, – определение юридического статуса обвиняемых в злонамеренном колдовстве; она решается посредством рассмотрения набора традиционных обвинений, выдвигаемых против ведьм через призму классической литературной традиции. Ощущение двойственности особенно усиливается на фоне тех деталей из современной Молитору действительности, которые автор

счел необходимым включить в текст. Своеобразие *De lanis et phitonicis mulieribus* заключается в том, что *dramatis personae*, представленные в нем, были лицами историческими, знакомыми более чем хорошо современникам. Помимо самого Ульриха Молитора, в текст повествования были введены еще два действующих лица. Это Конрад Шатц, который очевидно занимал пост бургомистра в Констанце, в латинском тексте он представлен (от лица Молитора) как *Conradus Schatz, Prætor meæ ciuitatis*, в немецком переводе начала XVI в. значится *bürgermeister zu costentz*, в переводе Лаутенбаха середины XVI в. – *unser Städtmeister*, и последний представитель Тирольской ветви дома Габсбургов Сигизмунд (1439–1490), который в трактате именуется «светлейшим князем, эрцгерцогом Австрии, Штирии, Каринтии и проч.» (*Illuſtriffimus Princeps, Dominus Sigifmundus Archidux Auftriæ, Stiriaë, Carinthiaë, & c.*). Особый интерес представляет тот факт, что персонажи, имеющие реальные и узнаваемые прототипы, в тексте трактата никогда не ссылаются на собственный опыт, воспроизводя исключительно книжные сентенции.

Общий ход рассуждений лучше всего иллюстрирует структура третьей главы трактата, посвященная вопросу о том, могут ли люди изменять образы и внешность свою в иные формы (*utrum possint hominem ymagines et facies eorum in alias formas immutare*). Дискуссию начинает эрцгерцог Сигизмунд, озвучивающий положения канона *Episcopi*. Ему возражает Конрад Шатц, ссылаясь на авторитет *Historiographos*, под которыми понимаются поэты Лактанций и Вергилий, особое значение имеет 8 эклога «Буколик» последнего, где идет речь о царице Цирцее, превратившей в зверей спутников Одиссея (*in animalia diuersarum specierum conuersi sunt*): «и одного в волка, другого в осла, третьего же во льва» (*vnusque in lupum, alter in asinum, alius vero in leonem*).

В целом, система аргументации Молитора сводится к трем основным компонентам. Это книги Священного Писания и отцов церкви, а также позднейшие схоластические сочинения. Особое место занимает сочинение Августина Блаженного «О граде Божьем», упомянутое по меньшей мере 18 раз. С особым почтением Молитор упоминает Петра Дамиани (*Petrus Damianus*), который наделяется эпитетом «муж ученейший» (*vir eruditissimus*) или же «муж великого авторитета» (*vir magnæ auctoritatis*), и Северина Бозция, значение которого подчеркивается эпитетом *Doctor catholicus*. Среди прочих сочинений средневековых авторов упоминаются «Зерцало природы» (*Vincentius in speculo naturali*) Виценция из Бовэ и *Summa copiosa*, известная также как *Aurea Summa* «господина Гостиенсиса» (*dominus Hofstien. in fumma*), и «История» Уильяма Малмсберийского (*Guillelmus Malmelberienſis monachus, in historia ſua*). В своих рассуждениях автор *De Lanis et Phitonicis Mulieribus* активно использует также и

популярную литературу. В основной своей массе это агиография, которая представлена житиями святых Симона и Иуды (*legenda sanctorum Simonis & Iudæ*), Антония (*legenda sancti Antonij*), Клементя (*historia sancti Clementis*), Якова (*in legenda sancti Iacobi*), Мартина (*legenda sancti Martini*), Бернарда (*historia sancti Bernardi*), Германа (*legenda sancti Germani*) и Блаженного Петра (*historia Beati Petri*). Единственным исключением в этом списке являются «Истории Арктура, короля Британии» (*historia Arcturi Regis Britanniae*). И, наконец, к особой группе источников можно отнести произведения классической словесности.

На фоне обширного корпуса цитируемой литературы наиболее отчетливо проявляется главное отличительное качество сочинения Ульриха Молитора как демонологического трактата, а именно – полное отсутствие *experientia* или *exempla* из актуальной судебной практики. Ни признания подсудимых, ни показания свидетелей автора *De laniis et phitonicis mulieribus* не интересуют. Они не рассматриваются вовсе в силу противоречивости и отсутствия аналогов в известной автору литературе; рассуждая о природе магии и злонамеренного колдовства, Молитор тем самым обозначает свой главный критерий достоверности: истинно то, что уже было описано. Именно прошлое, опосредованное латинской книжной традицией, выступает в качестве основного ориентира при решении насущных проблем современности. Трактат *De laniis et phitonicis mulieribus* свидетельствует о том, какое место занимала история в системе ценностей европейского интеллектуала конца XV в., подвизавшегося на поприще поиска ведьм.

В.П. Богданов (МГУ, Москва)

Памятники литературы как исторические источники и факт историографии (на примере изучения старообрядчества)*

Поиск новых источников и «общественное служение» определяет работу историка. В своих трудах исследователи показывают степень новизны и востребованности темы (со стороны ученого мира и остального общества), глубину проработки её на источниковом материале. Поиск новых источников толкает ученых на работу в архивах и «поле». Как ни парадоксально, увеличение и усложнение источникового материала приводит к усугублению

** Работа выполнена при финансовой поддержке Грант Президента РФ № МК-2285.2011.6.

пропасти между ученым сообществом и остальным социумом: отсылки на труднодоступные документы, раритетные публикации делает работы историков непонятными непрофессионалам. Для большинства потенциальных потребителей исторических знаний поисковая работа оправдана только в случае нахождения сенсации. Помочь исследователям расширить источниковую и историографическую базу, а вместе с тем вести разговор с обществом на понятном языке, может привлечение в качестве исторических источников художественных произведений. Ниже рассмотрим это на примере истории старообрядчества.

«Открытие» старообрядческой темы совершили писатели-романтики, обращавшиеся к сюжетам из русской истории (М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников). Их романы были написаны в годы становления общественных лагерей славянофилов и западников и являются важным источником по мировоззрению русского общества того времени. Каких-либо жизненных черт старообрядцы в романах Загоскина и Лажечникова не имеют. Старообрядчество в них выступает как некая «тёмная сила» (например, Андрей Денисов), противостоящая главным героям. Только в произведениях 1850-х – 1890-х гг. тема старообрядчества приобретает более историчные черты. Примечательно, что в это время А.И. Герцен и народники пытались найти в староверах исконный тип русских революционеров. Н.С. Лесков, П.И. Мельников-Печерский обратились к жизни современных им староверов; их произведения имеют важную историко-этнографическую ценность. Исследователь В.В. Боченков показал, что в своих сочинениях П.И. Мельников-Печерский довольно точно отразил и этические представления старообрядцев (например, отношение к труду), а также сведения, которые либо не отражены другими источниками, или искать их довольно трудно (например, сведения о старообрядческих типографиях) [Боченков В.В. П.И. Мельников(Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество. Ржев: Маргарит, 2008]. В сочинениях этих авторов нередко показано даже отношение общества к староверам. Показательно, что в повести «Зимний вечер» (1894 г.) Н.С. Лескова есть такие слова: «какая у них есть отличная манера: как старичку стукнет шестьдесят лет, он от сожительницы ... прочь... живет, читает Богословца или Ключ разумения... Я это, право, хвалю».

На рубеже XIX–XX вв. старообрядческие образы в русской литературе опять теряют конкретные очертания. Писатели снова обращаются к отдаленным образам основателей этого движения. К образу и творчеству Аввакума обращались Д.С. Мережковский, М.А. Волошин, А.И. Несмелов, М.М. Пришвин, М.А. Кузьмин, А.М.

Ремизов и В.Т. Шаламов. После указа 1905 г. об укреплении начал веротерпимости» наступил «золотой век» старообрядчества, когда оно доказало русскому образованному обществу свою историческую правду: В.Ф. Эрн прямо писал, что «в общественном отношении все преимущества как будто на стороне церкви старообрядческой» [Эрн В.Ф. Старообрядцы и современные религиозные запросы // Живая жизнь. 1908. № 1. С. 11]. Примечательно: в поэме «Двенадцать» (1918 г.) А.А. Блок пишет имя Христа по-староверски – Исус.

В Советской России 1920-х гг. Аввакум и его последователи были провозглашены одними из первых борцов за освобождение трудового народа. В оде «Ленин» (1918 г.) Н.А. Клюев пишет:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

М. Горький в романе «Жизнь Клима Самгина» (1928–1930) приводит список русских бунтарей: «От... Аввакума протопопа (выделение наше – В.Б.) до Бакунина Михаила, до Нечаева» [Розанов Ю. Протопоп Аввакум в творческом сознании А.М. Ремизова и В.Т. Шаламова // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова: материалы Международной научной конференции (Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.Т. Шаламова, Москва, 18–19 июня 2007 г.). – М.: [б. и.], 2007. – С. 301–315]. Видимо, писателей привлекал не сам исторический тип, а обобщенный образ оппозиционеров.

В дальнейшем старообрядчество как религиозное течение было осуждено и не привлекало исследователей. Новое обращение к нему в 1960-70-е гг. стало возможным только с точки зрения антифеодального протеста (как это было и в 1920-е гг.) [См., например: Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974]. В это время «реабилитация» старообрядчества обуславливалась двумя совершенно разными процессами.

Первый – репрессии советского периода и начавшаяся в конце 1950-х «оттепель». Второй – внимание к полевой археографии и начавшиеся в 1960-х гг. археографические экспедиции. И труднодоступные места ссыльнопоселенцев, и маршруты археографов проходили через места компактного проживания старообрядцев. Представители интеллигенции, соприкоснувшиеся с носителями традиций «древлего благочестия» уже по-другому смотрели на историю Раскола. Только после лагерных лет могла быть сформулирована мысль А.И. Солженицына: «... русский характер сохранялся в среде старообрядцев» [Солженицын А.И. Россия в обвале.

М., 1998. С. 167]. Только после многих экспедиций мола быть сформулирована мысль: «старообрядцы сохранили многие архаичные черты традиционной культуры... Старообрядчество, сохранившее книжность и яркие самобытные черты традиционной культуры, всегда привлекало пристальное внимание исследователей – археографов, этнографов, лингвистов, фольклористов, историков» [Черных А.В. Русские старообрядцы. – URL : [http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object= 1803972154](http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object=1803972154) (дата доступа: 5.02.2012)]. Примечательно, что окончательное возвращение темы старообрядчества (с освобождением от постулата об антифеодальном протесте) в русскую культуру совпало с возвращением наследия русского «духовного ренессанса» (термин Н.А. Бердяева) и эмиграции и пришлось уже на последние годы советской эпохи.

Таким образом, художественные произведения являются важным фактом историографии, поскольку отражают отношение общества к той или иной проблеме. Кроме того, они предоставляют историку конкретно-историческую информацию (нередко уникальную). Важно подчеркнуть, что в случае с художественными образами историк имеет дело с произведениями искусства, которые доступны не только ему и его работа может проверяться не только коллегами, но и всем обществом. Это обстоятельство и может способствовать преодолению разрыва между обществом и историками, о котором шла речь в начале.

Д.А. Добровольский (РГТУ, Москва)

Историописание или историография: к типологической характеристике русских летописей

Так сложилось, что курс истории исторической науки в России включает в себя — пусть и с оговорками — характеристику исторического мышления древнерусских летописцев, которые предстают, таким образом, если не первыми историками нашей страны, то, во всяком случае (воспользуюсь известной шуткой из «Записей и выписок» М.Л. Гаспарова), «убежденнейшими предшественниками» позднейших ученых [См., напр.: Рубинштейн Н.Л. Русская историография. [2-е изд.] СПб., [2008]. С. 17–26; Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. [СПб.], 1993; Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX – начало XX вв.): учеб. пособие. – URL: http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=18325, режим доступа свободный; последнее посещение 19.03.2012 г.]. Этот подход не универсален: П.Н. Милуков, например, относил «создание русской национальной исторической теории» к XVI в. [Милуков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. Изд.

3-е. СПб., 1913. С. 4], а А.М. Сахаров писал о «донаучном периоде» в эволюции «исторических знаний», простиравшемся «с древнейших времен до второй половины XVII в.»; характеристике этого «донаучного периода», впрочем, уделялось более 20 страниц [Сахаров А.М. Историография истории СССР: досоветский период. М., 1978. С. 17–44]. Логика сторонников сужения хронологических рамок русской историографии понятна: как подчеркивает А.М. Сахаров, «знание становится наукой вместе с формированием теоретического подхода к истории» [Там же. С. 9]. В то же время, современное мировосприятие, в значительной степени пронизанное духом постколониализма, подсказывает легкий путь опровержения сказанного: поскольку определение науки как теоретически нагруженного знания сформировано европейским опытом, который, очевидным образом, не универсален, то и разграничение научного / донаучного, производимое по данному критерию имеет смысл лишь в рамках европоцентристского подхода к осмыслению интеллектуального наследия человечества, очевидным образом не соответствующего современному распределению культурных достижений и экономических ресурсов. Поиски «глобальной перспективы историографического знания» неизбежно приводят нас к вопросу о границах исторической науки, проблематизируя, в том числе, и устоявшееся определение последней [ср.: Воробьева О.В. О глобальной перспективе историографического знания // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII — начала XX века: материалы междунар. науч. конф. М., 2011. С. 110–113]. Время обратиться к анализу источников, поставив вопрос о степени соответствия летописания базовым критериям научности рассказа о прошлом.

Утверждения, что древнерусский книжник «и не пробует понять, что он пишет и переписывает, и, похоже, одержим одной мыслью – записывать все как есть» (В.В. Мильдон), вызывают заслуженное неприятие у специалистов-медиевистов [ср.: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков: курс лекций. М., 1998. С. 11–14]. Летописцы, несомненно, далеко продвинулись в деле осмысления излагаемых событий: значительная часть сообщений сопровождается оценкой происходящего. Более того, летописный рассказ выстроен прежде всего по хронологическому принципу. Как следствие, одна сюжетная линия может с легкостью вклиниться в другую, а последовательное изложение ряда взаимосвязанных событий требует специальных приемов (в частности, введения зачастую не оговоренных ретроспекций). Однако и в таких условиях книжники находили возможность выявлять причину и следствие и делать предположения о движущих силах истории: «се [нападения степняков – Д.Д.] бо есть

багогь его, да негли, встягнувшеса, вспомянемься от злаго пути своего, сего ради в праздники Богъ наводитъ сѣтованье». [Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 222]. Наконец, в летописи можно обнаружить и эксплицитную полемику с не устраивающими книжника представлениями [например, с легендой о Кие-перевозчике – Там же. Стб. 9–10; следы опровергаемой точки зрения сохранились в Новгородской I летописи младшего извода – ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 103]. Появление подобного рода рассуждений отдаляет древнерусское летописание (во всяком случае – лучшие его образцы) от «стандартов» архаического повествования о прошлом, приближая его, одновременно, к современной историографии.

Вместе с тем, летописцы не были последовательны в задействовании собственных «историографических возможностей». Так, в начале Повести временных лет помещен не разделенный на годовые статьи фрагмент, традиционно именуемый введением [Там же. Стб. 1–17]. Основное содержание этого отрывка — этногеография Восточной Европы с особым акцентом на расселение восточнославянских племен. Однако единого списка этих племен в летописи нет: читателю предлагаются пять вариантов перечисления, которые слабо соотносятся между собой по составу и структуре. Такая непоследовательность может быть связана с общим презрительным отношением книжников к собственному племенному прошлому. Примечательно, вместе с тем, что во введении практически не нашлось места для описания генеалогии и расселения степных народов, хотя «половецкий фактор» был одним из важнейших в излагаемой далее истории Руси. Пробел восполняется в статье 6604 (1096) г., где помещена специальная справка о происхождении кочевников. Но историограф *sensu stricto*, несомненно, внес бы соответствующую правку в начальную часть летописного рассказа. Если же этого не сделано, то значит перед книжниками не стояла фундаментальная для науки задача экспликации объекта своих рассуждений.

Показательно то, в каких контекстах летописцы ссылаются на мемориальные объекты, выступающие свидетельствами излагаемых событий. Б. Гене уверенно соотносит многочисленные упоминания таких объектов у западных авторов эпохи Средневековья с источниковедческими наблюдениями современных историков; лишь недостаток материала, полагает французский ученый, привел к тому, что «история была в Средние века вспомогательной наукой, не имевшей никаких вспомогательных дисциплин» [Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002. С. 106–107]. Однако более убедительной представляется позиция Я. Банашкевича, который, признавая значение мемориальных объектов как

свидетельств, подчеркивает их символическую нагруженность и способность освящать окружающее пространство, формируя ценностные структуры [Banaszkiewicz J. Usque in hodiernum diem : średniowieczne znaki pamięci // Przegląd historyczny. 1981. Т. 72, zes. 2. S. 229–237]. Летописцы обращаются к физическим объектам как к свидетельствам. Так, драматический рассказ об ослеплении Василька Теребовльского прерывается деловым замечанием «и есть рана та **Василкѣ и нынѣ**» [ПСРЛ. Т. 1. Стб. 261]. Однако наибольшее число мемориальных объектов, известных летописанию XI – начала XII в., связано с деятельностью первых русских князей, выступающих в данной связи едва ли не в качестве особого рода демиургов. Сани Ольги, которые **«стоять въ Плесковѣ и до сего дъне»**, — это не **«прообраз музейного** предмета, а наглядный символ княжеской власти. Снова летописец выступает не как исследователь, а как один из представителей культуры, считающих соответствующий символический код.

Летописный жанр оказался весьма живучим: отдельные произведения такого плана создавались даже в начале XX в. [ПСРЛ. Л., 1892. Т. 37. С. 3]. Однако он очевидным образом не предполагал того жесткого противопоставления субъекта и объекта исследований, которое представляется базовым для историографии. Оставаясь феноменом историописания, летопись является, вместе с тем, продуктом неисториографического этапа в истории культуры. С практической точки зрения сказанное означает, среди прочего, что было бы целесообразно изъять рассмотрение летописей из курса истории исторической науки (возможно предусмотрев на более высоком уровне образования чтение более широкого курса по истории исторических знаний / исторических представлений).

М.И. Козлова (Сыктывкарский ГУ)

Античность в «Историях Российских» XVIII в. (опыт М.М. Щербатова и Ф.А. Эмина)

В XVIII в. особое значение приобрело изучение прошлого своего государства, актуализировалась «историографическая культура, тесно связанная с общественным сознанием и выполнявшая практические задачи конструирования национального прошлого, а также контроля над национальной памятью» [Маловичко С.И. Конструирование социально-политической истории Древней Руси в историописании Екатерины II // Русские древности: К 75-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб., 2011. С. 370]. В этот период представители разных сословий занимались историописанием. Федор Александрович

Эмин (1735–1770, автор «Российской истории жизни всех древних от самого начала России государей») и Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790, автор «Истории Российской от древнейших времен») стали выразителями взглядов определенных слоев. Как известно, М.М. Щербатов ориентировался на дворян, а Ф.А. Эмин – на «русских буржуа». Их мировоззренческие ориентиры повлияли на весь процесс историописания, в том числе и на обращение к античному наследию.

М.М. Щербатов говорит о том, что он использует античные источники, чтобы «с помощью безпристрастной критики лживое с истиной различить; также, употребляя засвидетельствовании иностранных писателей, в некоторых случаях тайныя причины дел проникнуть». При этом М.М. Щербатов ссылается на сами источники, а Ф.А. Эмин, заимствуя факты преимущественно из иностранных текстов, не дает конкретных ссылок.

У историописателей встречаются рассуждения об отдельных фрагментах античных источников. М.М. Щербатов, например, писал, что «...есть повествование Иродотова о смерти Кира; однако оно весьма баснословно быть является, так, как и все, что он о Кире повествует; ибо Ксенофонт весьма верной и сходственной с священным писанием писатель». Как видим, М.М. Щербатов сравнивает труды античных авторов, чтобы определить достоверность их описаний. Ф.А. Эмин также указывал на использование произведений античных авторов в своем сочинении, например: «Плиний и многие естества изследователи утверждают, что есть такие птицы, которыя оставляют свои гнезда, когда оныя тронет какая-нибудь рука». Но достоверность этой цитаты маловероятна. У Плиния есть информация об особенностях гнезд различных видов птиц, например, синицы, дятла и т.д., но приведенное Эмином рассуждение нами у Плиния не обнаружено.

Особое место имеют античные источники при описании образа Екатерины II. В начале своей «Российской истории...» Ф.А. Эмин сравнивает императрицу с древними мудрецами Ликургом и Солоном, что неудивительно, т.к. она была известна своими законодательными проектами: «Говорят, что Ликурга и Солона узаконения много грекам славы зделали; но при всем том мы зрим в их узаконениях много непросвещения и безчеловечья». Далее Ф.А. Эмин писал, что Ликург издал закон, по которому необходимо любить детей своих и ненавидеть рабов. На наш взгляд, такая интерпретация Ликурга является преувеличением. Спорным можно назвать высказывание о наличии закона, по которому женщины должны были биться «на кулаках» «нагими». В Древней Греции существовало такое устройство общества, при котором женщина не могла принимать участие в боях. Есть некоторая вероятность, что Ф.А. Эмин говорит о женщинах-

гладиаторах. Однако это имело место только в Древнем Риме и не было узаконено.

Ф.А. Эмин, перечисляя кажущиеся ему недостатки античной законодательной системы, подчеркивает, что дела Екатерины II наполнены «просвещением, премудростью, кротостью и такою справедливостью, которая ничего в себе жестокого и человечеству противного не имеет?». Ф.А. Эмин использует образы известных античных законодателей, но их заслуги он интерпретирует для демонстрации величия деяний «просвещенной императрицы», античные реминисценции в «Российской истории...» соответствуют общей верноподданнической и монархической концепции его сочинения.

По мнению Ф.А. Эмина, весомым аргументом, показывающим великодушие и заботу Екатерины II обо всех сословиях, является превосходство ее моральных качеств над подчеркнутым автором жестокосердием античных законодателей: «Славнейший Афинский Законодавец и многие римские велели губить тех рабов, кои о собственной пользе помыслили осмеливались; а наша **МОНАРХИНЯ, МАТЕРЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА** о том старается, дабы и беднейшие рабы могли иметь что-нибудь собственное, чрез что могли бы быть несколько довольными».

Для М.М. Щербатова важным являлось то, что идеальный монарх должен содействовать развитию наук и искусств, а также способствовать формированию интеллектуальной элиты. Примерами для подражания у него выступали государственные и военные деятели – Фемистокл, Аристид, Алкивиад, а также полководцы Мильтиад, Конон. Многие из указанных М.М. Щербатовым философов (Анаксагор, Платон, Сократ) пострадали от власти. Скорее всего, дворянский историописатель показывал, что при Екатерине II, несмотря на ее стремление выглядеть «просвещенной государыней», российские интеллектуалы были подвержены гонениям и не могли открыто высказывать свои мысли. М.М. Щербатов также характеризует личность Екатерины II посредством античных реминисценций: «И Август, когда, вселенну покорив, врата Янусовы затворил; когда под благополучием его державою гордые римляне свою вольность забывали; тогда Тит Ливий, Саллустий, Вергилий и Гораций славу владычества умножали». С одной стороны, императрица сравнивается с Августом, вернувшим Риму мир и благополучие, воспетые названными выше историками и поэтами так называемого «золотого века» римской литературы, с другой, М.М. Щербатов напоминает о цене этого благополучия – потере свободы «гордыми римлянами». Полагаем, что упоминание в этом контексте Януса (римское божество входа и

выхода, изображаемое с двумя лицами, обращенными в прошлое и будущее) не случайно, ведь в переносном смысле «двуликим Янусом» называют лицемерного человека.

Таким образом, при написании официальной российской истории М.М. Щербатову и Ф.А. Эмину пришлось ориентироваться на государственные предпочтения. Но при этом М.М. Щербатов использовал античные реминисценции для критики политики «просвещенной императрицы», а Ф.А. Эмин – для восхваления ее заслуг. М.М. Щербатов упоминал известные сюжеты, чтобы его взгляды были восприняты просвещенными современниками, а Ф.А. Эмин, понимая, что представители интеллектуальной элиты XVIII века могут обнаружить недостоверность исторических фактов, использовал известных персонажей, но толковал их идеи и мысли в выгодном ему ключе.

В.П. Корзун, Д.М. Колеватов
(Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

Историография как интеллектуальная генеалогия

Тема доклада, вынесенная в заголовок тезисов, отнюдь не означает, что авторы намерены переформатировать предметное поле историографии. Мы скорее пытаемся выявить то, что присутствовало в этом поле как нечто неявное, само собой разумеющееся, входило в ментальную составляющую нашей науки и в существенно редуцированном виде формулировалось в виде задач историографии как учебной дисциплины.

Как известно, историография в российском университетском образовании, наряду с методологией, традиционно относится к блоку рефлексивного знания и напрямую связана с процессом профессиональной самоидентификации. Частью этого процесса выступает создание дисциплинарной родословной, «поколенной росписи» исторической науки. В первом, наиболее видимом приближении, генеалогическое древо исторической науки предстает перед нами в учебниках и учебных пособиях, курсах лекций по историографии. Обратной стороной такого внимания явилось складывание представления о развитии исторической науки как о процессе исключительно кумулятивном.

Интерес современной науки к проблемам исторической памяти, в том числе к памяти корпоративной, взлет интеллектуальной истории, актуализировали проблему академической культуры. Как

отмечает И.М. Савельева «Подобно тому, как знание прошлого играет огромную роль в развитии больших социальных общностей, знание истории дисциплины, которой ты занимаешься, служит основой для самоидентификации в качестве одного из видов *homo academicus*...» [Савельева И.М. «Уроки истории» ученой корпорации // Мир историка. Вып. 7. Омск, 2011, с. 72]. Изменившийся интеллектуальный контекст необходимо предполагает обращение к системам нормативных и регулятивных ценностей («образа науки, идеала науки, задаваемых образцов»). Конечно же, ценностные ориентации неизбежно персонифицированы, представлены через деятельность референтных групп и героев научного мира (классиков), стимулирующих подражательно-имитационную активность, провоцирующих стремление (в той или иной степени) к сближению или даже слиянию с ними. Но в ценностно-мемориальном ракурсе наряду с парадными портретами классиков интеллектуальная генеалогия позволяет выделить точки ценностного обогащения науки, содержательной прерывности научного развития, персонифицированных когнитивных прорывах, сопровождавшихся острой конкуренцией различных моделей исторического исследования. Конкуренция исследовательских моделей является в тоже время конкуренцией различных ученых, школ, направлений.

История науки в существенных ее моментах переосмысливается/ переписывается заново и чаще всего это происходит через смену оценок символических фигур, которые воспринимаются как репрезентаторы определенной парадигмы, социального запроса и т.д. С определенной степени условности выделим две модели самоидентификации научного сообщества, сказывающихся и на шкале оценок в курсах по историографии. Основу первой модели составляет оппозиция «свой – чужой», («живой классик» и его низвержение). Такая модель востребована, как правило, в периоды освоения новых парадигм и связана с борьбой за перераспределение пространства внимания в научном поле. Показательна в этом плане ситуация в отечественной науке первой трети XIX в., когда разворачивалась болезненная критика просветительской модели историописания и усвоение гегельянской версии истории. Героем и одновременно антигероем отечественного историописания становится личность Н.М. Карамзина.

Но самоидентификация в рамках профессии не может строиться исключительно на отрицании/противопоставлении. Наука как культурная форма предполагает передачу традиций, преемство идей, накопление научного капитала и способов его постижения. Самопознание науки предполагает рассмотрение ее как особой формы бытия («самости») с присущей ей системой внутренних

связей, единством и специфичностью (в том числе, специальных практических действий, обрядов и церемоний). Очевидно, что для осуществления данных функций актуализируется иная модель самоидентификации. Условно назовем ее «присваивающей». Она обнаруживается в юбилейных «текстах памяти», признанных, объединяющих фигурах. Для дореволюционной историографии на пике ее развития в качестве такой объединяющей фигуры выступает, безусловно, В.О. Ключевский и посвященные ему «тексты памяти». Особую роль такие фигуры и посвященные им юбилейно-мемориальные тексты играют в условиях ужесточения социального контекста, борьбы (зачастую неосознанной или, по крайней мере, открыто не проговариваемой) за автономность науки, за приоритет внутринаучной мотивации ее деятелей. На фоне жесткой критики «буржуазной» историографии, противопоставления ее советской, фигура Ключевского, как и других великих «старых историков», выполняет примиряющее-смягчающую роль («буржуазные историки, но значительны их научные достижения»).

Собственно, в период становления советской исторической науки именно историческая генеалогия выполняла в значительной мере структурообразующую роль в построении историографических курсов, учебников и учебных пособий. Подтверждением этому является классический историко-научный труд советской эпохи – «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна, для которого «действительный путь науки получает свое полное и отчетливое выражение в ее наиболее ярких и типичных представителях... само изучение сменяющихся исторических направлений возможно лишь через научный анализ творчества основных, наиболее типичных представителей каждого периода, каждой школы» [Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб, 2008, с. 4]. Н.Л. Рубинштейн подчеркивает значение «биографического элемента» в плане верификации процесса и результатов научного исследования – «в ряде случаев эта общественная и научная биография не только раскрывает научные предпосылки, но дает как бы вторичную проверку, материал, дополняющий научный анализ» (там же).

Структурообразующая роль научно-биографического, историко-генетического подхода выдерживается Н.Л. Рубинштейном и в плане конкретного историографического анализа. Так, при рассмотрении развития русской исторической науки XVIII-го века, когда происходит «превращение исторического знания в науку», Н.Л. Рубинштейн выстраивает своеобразный генеалогический ряд, в который входят как те, кто оказал влияние на отечественный историографический процесс, так и те, кто принял в нем непосредственное участие. К первым относятся создатели «философских основ новой европейской

науки» – Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В. Лейбниц, французские просветители. В этом ряду представлены и историки Запада, чья деятельность привела к «историческим сдвигам в развитии конкретного исторического изучения» – Лоренцо Валла, Николо Макиавелли, Ж. Мабильон, Самуил Пуфендорф и др. Напомним, что именно Рубинштейном была предпринята наиболее масштабная (в сравнении с авторами других учебных пособий советского времени) попытка вписать развитие отечественной исторической науки во всемирно-исторический контекст, выявить всемирную генеалогию этого процесса. Сам же этот процесс раскрывается по преимуществу через деятельность выдающихся отечественных историков, каждому из которых посвящена отдельная глава (здесь представлены и немецкие историки, служащие в Российской академии наук) – В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.-Ф. Миллера, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, А.-Л. Шлецера. Вместе с указанными авторами Рубинштейном в обзорных по характеру смысловых фрагментах его работы говорится о таких деятелях отечественного историописания, историках «второго плана», как Ф.П. Поликарпов, А.И. Манкиев, П.П. Шафиров, В.К. Третьяковский, Ф.А. Эмин, И.П. Елагин, Г.-З. Байер, И.-Э. Фишер, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт.

Этот реестр, безусловно, значимых или, по крайней мере, оставивших свой след, «имевших место быть» деятелей отечественного историописания XVIII-го века в основном сохраняется и в последующих учебниках по историографии (В.И. Астахова, С.Л. Пешгича, В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева, др.). Заметим, однако, что именно работа Рубинштейна выделяется поистине уникальным сочетанием марксистскости и научности, стремлением совместить «действительное движение» исторической науки и «исторический материализм – закономерное и неизбежное завершение пройденного пути», показать действительное место каждого историка в генеалогическом ряду отечественной исторической науки (там же, с. 5). Для авторов более поздних историографических учебников характерно акцентирование научных заслуг ученых русских «по национальной принадлежности», противопоставление их «различным немцам-карьеристам», определение научной значимости ученого, исходя из его позиции по отношению к «табуированной» теме о действительной роли норманнов в создании Древнерусского государства. Парадоксально, что подобный подход рассматривался Рубинштейном как воспроизведение формализма буржуазной исторической науки – «дело не в национальном происхождении ученого, а в формировании его научной мысли, в содержании и направлении его исследовательской работы» (там же, с. 104-105).

**Исследования Н.И. Кареева о парижских секциях
в контексте развития исторической науки начала XX вв.**

Современная историография все более обращается к изучению истоков исторической науки, особенно акцентируя внимание на жизненном опыте, научной судьбе ее творцов, широком социокультурном контексте, в котором рождались и развивались научные идеи историков.

В этой связи особый интерес представляет восприятие научным сообществом исследований о парижских секциях Н.И. Кареева (1850–1931), ведущего специалиста по новистике конца XIX – начала XX века.

Одной из тем, которая постоянно интересовала его, была история парижских секций – 48 избирательных округов Парижа, просуществовавших с 1790 по 1795 гг. Работая в Национальном архиве и Национальной библиотеке Франции, он нашел целый пласт неисследованных секционных документов, уцелевших со времен Революции во Франции конца XVIII в. На основе этого архивного материала он в 1911–1918 гг. написал ряд исследований, раскрывающих политическую роль секций Парижа в отдельных событиях Революции и их организационную структуру. Параллельно он занимался публикацией секционных бумаг.

Как видим, публикация трудов по истории секций Парижа приходится на бурное время в истории нашей страны. Напомним, что в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. в Российской империи начинают формироваться основы парламентаризма (Государственная Дума), Февральская революция 1917 г. приводит к падению монархии, а Октябрьская революция того же года – к созданию нового государственного строя. Во всех революциях правительство сталкивается с проблемой формирования основ нового общественного порядка, который доселе в России практически не имел примеров. Исследование опыта других стран в этой ситуации подходило бы как нельзя лучше.

Появление исследований, что называется в духе времени из-под пера Н.И. Кареева, вызывало в историческом сообществе интерес к его работам. Первым трудом Кареева по истории секций становится обзорная статья «Парижские секции времен Французской революции (1790–1795)» (СПб., 1911), на которую вышли сразу три рецензии. Е.В. Тарле в одной из них назвал его очерк «важным историографическим введением, с которым должен будет считаться всякий, кто займется историей секций» [Русская мысль. 1912. № 12.

С. 431]. Таким образом отмечалась бесспорная научная значимость непременно присутствующей историографической составляющей трудов Кареева.

Авторами рецензий и историографических обзоров были: уже упомянутый Е.В. Тарле (1874–1955), работавший на тот момент приват-доцентом С.-Петербургского университета. Он является автором четырех рецензий (из 14) на труды Кареева о парижских секциях; А.К. Дживелегов (1875–1952), занимавшийся в то время историей армии в эпоху Французской революции; С.Ф. Фортунатов (1850–1918) – в это время приват-доцент Московского университета; историк-античник и историограф В.П. Бузескул (1858–1931).

Что касается изданий, на страницах которых выходили рецензии, то только перечисления этих названий: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Русские ведомости», «Речь», «День», «Frankfurter Zeitung», «Annales Révolutionnaire», говорит о том, что это были передовые отечественные и зарубежные публицистические и научные издания первой четверти XX века.

Публикации, в которых содержалась характеристика трудов Н.И. Кареева по истории парижских секций, можно разделить на две основные группы: научные и библиографические. В публикациях первой группы обращено внимание на научность рецензируемого автором труда (авторами их были указанные историки). Рецензии второй группы дают читателю общее представление о содержании труда, и в них нет глубокого анализа (библиографические листки «Вестника Европы»).

Первые отличаются особой ценностью и поэтому обратимся прежде всего к ним. Особый интерес у авторов рецензий вызвали публикации Кареевым архивных документов, которые он издавал как отдельными книгами, так и в приложениях к своим этюдам. «В этих уцелевших бумагах парижских секций Н.И. Карееву очень посчастливилось... Он нашел и напечатал очень характерные документы», отмечал Е.В. Тарле. А приложения, которые содержали не только выписки из протоколов, но и цветные карты, планы Парижа, секционные карточки, «еще повышают ценность труда» [Русская мысль. 1912. №12. С. 431]. Критики высоко оценили уникальность источниковой базы исследований Кареева: документами секций «не пользовались ни Тэн, ни Олар, ни Жорес» [Вестник Европы. 1913. №12. С. 412].

Не обойдено вниманием и стремление Кареева в своих работах на основе накопленного архивного материала показать в новом свете «некоторые, казавшиеся вполне выясненными события» Французской революции конца XVIII в. Так, отмечают ученые, Кареев «пришел к заключению, что вандемьерское восстание, вызванное фрюкtidорскими постановлениями Конвента, не было

роялистическим, как обыкновенно думают», а «разбор петиции Жака Ру и секции Гравилье привели его к мнению, что эта петиция неправильно считалась коммунистическою» [Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX – начале XX века. Ч.1. Л., 1929. С. 166-167]. Критерий научной новизны является одним из самых важных в оценке любого исторического исследования. И здесь, по мнению авторов, Карееву удалось внести весомый вклад в изучение не только столичных секций, но и революции в целом. Его этюды по истории парижских секций «составляют живую иллюстрацию к одной из самых важных и драматических страниц... прошлого» [Вестник Европы. – 1912. № 11 (ноябрь) (библиографический листок)].

Интересно заметить, что рецензенты, оценивавшие труды Кареева по истории секций, с нетерпением ждали его новых работ и даже размышляли над направлением будущих изысканий. «Очень желательно, чтобы почтенный автор разработал удачно поставленную им интересную проблему со всею обстоятельностью... Нам кажется, что при дальнейшем углублении темы сам собою выдвинется еще один, попутный, так сказать, вопрос: как смотрела эмиграция на вандемьерское восстание?», – писал Е.В. Тарле относительно этюда Кареева о характере вандемьерского восстания [Русское богатство. 1914. № VII. С. 349].

Общий тон рецензий позволяет сделать вывод, что научное сообщество относилось к Карееву как ведущему специалисту по истории Французской революции. Его труды по истории парижских секций демонстрировали, что в основе настоящего исследования находятся неизученные источники в сочетании с обширными историографическими экскурсами. Именно это и позволило Карееву найти новое прочтение проблем Французской революции конца XVIII века.

Е.В. Плавская (РГГУ, Москва)

Исторические заметки о Франции в критике русских публицистов (вторая четверть XIX века)

В историографии принято считать, что вторая четверть XIX века – время, когда историческое прошлое становится объектом дискуссий русских публицистов. Исследователи (А.Г. Тартаковский, М.П. Мохначева, А.Д. Зайцев) утверждают, что не только историки-профессионалы стали интересоваться вопросами истории, но и критики, которые не причисляли себя к среде профессиональных историков.

Надо отметить, что вопросы истории рассматривались в разных рубриках отечественных журналов (*Словесность*, *Современные*

истории, Критика и библиография ит.д.). Для нас представляют интерес лишь те заметки, которые можно отнести к публицистике. Публицистика, призванная выражать явно или имплицитно, мнение какой-либо социальной группы, возникла в общественной сфере. В XIX веке в силу определенных причин происходит сращивание периодики и публицистики. Поэтому видовая принадлежность очерков и заметок журнала вызывает ряд сложностей для исследователя-источниковеда, а названия рубрик несколько не помогают ее определять.

Для решения этой задачи видится необходимым выделить ряд критериев, позволяющих определять целеполагание авторов-журналистов, а вместе с этим и видовую принадлежность источника. Ориентироваться в выборе материала мне помогали следующие пункты: злободневность затрагиваемой проблемы; авторская оценка; аналитическая направленность, предполагающая ретроспекцию; наличие обращений к читателю.

Согласно проведенному исследованию критические заметки журналистов более всего отвечают этим критериям публицистики. «Критика есть важнейшая часть журнала...Важность критики отмечается там, где не установилось еще общественное мнение» – вот как сами редакторы отмечали основную особенность этой части журнала [Сын Отечества. 1847. Т. 6. С. 1].

История и историки Франции занимали умы русских критиков не в меньшей степени, чем отечественные. На что же обращали внимание русские критики в трудах французских историков.

Объектом интересов русских критиков были вопросы профессионального мастерства историков-французов. Например, русский журналист рассматривая *Историю о войне Испанской генерала Фуа* отмечает: «Сочинение господина Фуа показывает, что Франция лишилась в нем не только из вернейшего из своих сынов, но и писателя необыкновенного, которому предстоял блестящий путь на поприще Истории» [Московский Телеграф. 1827. Ч. 18. С. 309]. Французский историк Гизо был оценен «несомненным талантом», который предполагает «ожидания от него блестящего изложения, важных истин, сказанных красноречиво» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 96]. Однако, не только восхищение вызывал профессионализм историков-французов. Если критик замечал в их творчестве плагиат, отсутствие «критицизма, отвлекающего от всех частных заблуждений» или иного непрофессионализма (с его точки зрения), то он подвергал мастерство историка сомнению. Это прекрасно демонстрируют отрывки из критики Павла Свинына на творчество историка Г. Ансело. «Все топографические и исторические описания господин Ансело взял из книги

Достопамятности С. Петербурга, соч. Павла Свинына». Критик возмущен: «Сочинение, написанное на французском, было столь неосторожно перепечатано со скрытием имени настоящего автора» [Московский Телеграф. М., 1827, Ч. 18. С. 33-34]. Здесь все же следует заметить, что обвиняет П. Свинын Ансело в том, что тот занялся плагиатом его собственной книги.

Итак, критиков в первую очередь интересует мастерство, профессиональная востребованность французских историков. Однако этот сюжет занимает в рецензиях не основное место. Журналист, анализируя творчество историка, подчас ругает его не за отсутствие мастерства и таланта, а за то, что он «Француз». Подобные замечки в оценках русских критиков встречаются очень часто. Гизо при всем его таланте «еще не умеет являть ту всеобщность, ту способность переселяться во все века», а виной тому «пристрастия и предрассудки Француза, имеющего недостаток универсального просвещения» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 96]. Тем же самым В.Г. Белинский объясняет научную слабость Мишле: «опять виден Француз, говорун и болтун по природе своей» [Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 475].

Иногда российские критики в своем пренебрежении всем французским выглядят весьма нелепо в своих рецензиях. Критическая заметка Москвитянина посвящена работам русского санскритолога господина Коссовича. Но в первых же строках критик обсуждает не творчество Коссовича, а непрофессионализм французского востоковеда и директора Французской Афинской школы Эмиля Бурнуфа: «трудолюбивый г. Коссович издал перевод весьма примечательный санскритской драмы, где он между прочим показал ужасные промахи Бурнуфа, знаменитого лишь потому что он Фрнцуз» [Москвитянин. 1849. Т. 1. С. 9]. В словах критика звучит явная ирония над национальной принадлежностью историка, которая и определила отсутствие у него мастерства.

Наконец, критики, обсуждая творчество историков-французов, переходили к обсуждению французской истории в целом. Примером может служить заметка на сочинение Ф. Дамирона, опубликованная в Париже в 1828 году. Объектом изучения Дамирона является история французской философии XIX столетия. Русский критик, отмечая способность автора давать «четкие, подробные разборы», переходит в итоге к истории Французской революции, «которая привела французскую философию к изуродованности и непониманию» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 52, 62]. Надо отметить, что «неспособность» французов создавать замечательные произведения ни в литературе, ни в истории, ни в философии часто объяснялась

русскими публицистами тем, что умы Франции испортила революция.

Наконец, можно сказать, что в критических заметках о французской истории и о французских историках упоминалось довольно часто. Однако вопросы истории интересовали русских публицистов, потому что они давали возможность привести нравственный пример русскому читателю. Авторы оценивали не в контексте наукотворчества, а как представителей той или иной социальной принадлежности. История в восприятии русских публицистов была орудием оратора, а не предметом саморефлексии.

Критический очерк строился по определенным канонам жанра. Наличие оценок критика безусловно было в нем определяющим. Правда, часто эти оценки относились не к научным заслугам историка, а к его нравственным качествам. К тому же в очерке могло присутствовать диалоговое начало, что не совсем свойственно для рецензии. Более того, журналист давал ту или иную оценку историческому сочинению, исследуя какие-то общественно значимые проблемы. В свою очередь, это делало заметку не простой рецензией, а полноценной литературно-критической статьей. Как мы увидели на анализируемом материале, автор критической статьи шел еще дальше, делая основной акцент на культурных особенностях страны, ее традициях и обычаях. Но именно эти сюжеты и позволяют нам изучать образ иной культуры, который бытовал в русском обществе. Исследуемый материал иллюстрирует, что такие заметки представляют читателю некоторые клише и стереотипы, которые доминировали в общественном сознании и были перенесены даже в сферу истории, несмотря на то, что последняя претендовала на научность. Все это позволяет оценить перспективы изучения образа иной культуры в динамике.

Г.В. Рокина (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)

Словацкие сюжеты в трудах российских историков XIX в.

Особое внимание Россия обратила на зарубежное славянство после поражения в Крымской войне. С этого периода можно говорить о появлении самостоятельной словацкой проблематики как части славянской истории и культуры в трудах российских историков. В 1830–1830-е гг. в российских изданиях впервые появились представления о словаках как самостоятельном народе, до этого чаще всего их отождествляли со словенцами или чехо-словаками. Словацкая проблематика в трудах российских историков и публицистов чаще всего рассматривалась в контексте с такими понятиями как панславизм

и славянская взаимность. В 1861 г. А. Гильфердинг писал: «Родилась, выпущенная естественным чувством самосохранения потребность устранить причины прежней гибели и заменить их тем, что нужно было славянским народам для их сближения и будущего преуспеяния – ...родился панславизм» [Гильфердинг А. Венгрия и славяне // Русская беседа. 1860. № 11. С. 34]. Обращение к теме панславизма и идеи славянской взаимности в историографии истории и культуры словацкого народа в XIX в. было связано с тем, что именно в словацком национальном движении впервые была сформулирована теория славянской взаимности, а ее отцы-основатели Я. Коллар, Л. Штур и Я. Гурбан-Ваянский в своем творчестве и общественной деятельности были тесно связаны с Россией [Рокина Г.В. Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-русских связей XIX в. Казань, 2005].

Вместе с тем, Словакия и словаки оставались мало известны в XIX в. для широкой, даже ученой, российской публики. Только в последней трети XIX в. читатели получили более-менее полные сведения о словацком народе и словацком национальном движении в Австро-Венгрии из работ панславистов А. Будиловича, А. Сиротинина, А. Степовича. Первые научные работы по истории русско-чешско-словацких связей на русском языке были написаны В.А. Францевым, он же первым опубликовал источники по этой проблеме [Она же. Словацкий вопрос на страницах российской периодической печати последней трети XIX в. // Вестник Моск. ун-та. 2001. № 2; Будилович А.С. Словацкая литература // Поэзия славян. СПб., 1871. С. 385-388; Сиротинин А. Коллар и Хомяков // Россия и славяне. СПб., 1913; Степович А.И. Очерки по истории славянских литератур. Киев, 1899; Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902].

Своеобразным итогом разработки словацкой проблематики в российской публицистике, университетских лекциях славистов, научных трудах стало появление русского перевода «Очерка политической и литературной истории словаков за последние 100 лет» чешского ученого, слависта, археолога Й.Л. Пича [Славянский сборник. 1875. Т. 1]. Автор заключает, что «словаки, как составная часть Угорского королевства, не имеют особой истории в собственном смысле, хотя и нельзя отрицать, что они принимали довольно большое участие в ходе общей Угорской истории, которая через это становится и их историей».

Наиболее последовательно, на наш взгляд, словацкие сюжеты были представлены в творчестве А.Н. Пыпина, автора «Истории славянских литератур». Почти все словацкие темы в публицистической и литературоведческой деятельности Пыпина так

или иначе были связаны с проблемой панславизма. Именно Пыпину принадлежит утверждение, которое он последовательно отстаивал в российской публицистике, что «первые мысли о взаимности высказаны были словаками, и не без причины... Татранские словаки до сих пор не имели в литературе почти ничего собственного; поэтому они первые протянули руки, чтобы обнять все славянство» [Пыпин А.Н. Литературный панславизм. С. 622].

В «Истории славянских литератур» он также неоднократно подчеркивал, что «самые характерные панслависты явились именно у словаков», что «особенное возбуждение народного чувства у словаков произведено было двумя писателями, которые оба словаки родом, стали тогда сильнейшими деятелями в области славянского возрождения. Это были Коллар и Шафарик» [Он же. История славянских литератур. Т. 2. С. 1025].

Особое место в трактовке панславизма, «затеянного» словаками, у А. Пыпина занимает вопрос об утопичности или реалистичности этого явления. А. Пыпин, как никто другой, уловил место и роль объединительного славянского движения и для Европы и для России. В одной из последних работ он писал: «За последние годы газеты буквально переполнены известиями о том, как “панславизм” беспокоит или раздражает европейских политиков и публицистов, почти поголовно... Как некогда в 30-х годах из этого слова делали пугало устрашения против России, так и теперь...завоевательные планы России во главе панславизма». И далее: «Опасности панславизма – только политическая уловка, за которой просто скрывается вражда к России. Что России “не любят” в Европе – это известно...» [Он же. Панславизм в прошлом и настоящем // Вестник Европы. 1878. Сент. С. 771, 773].

Среди словацких тем в творчестве А. Пыпина наиболее распространенным является характеристика творчества известного словацкого ученого и поэта Яна Коллара (1793-1852) который, по его мнению, «с самого начала видит в славянстве одну семью родных братьев, всегда друг другу близких, но разлучаемых только злобой врагов» [Он же. Панславизм в прошлом и настоящем. С. 727].

Именно в связи со словацкой темой в российских научных изданиях панславистского направления обсуждалась выдвинутая словаками идея принятия русского языка как общеславянского языка общения. Высказывая собственное отношение к идее общеславянского русского языка, Пыпин обращается к своим излюбленным примерам словацкой истории, цитируя письмо другого чешского и словацкого ученого П. Шафарика к Коллару от 1826 г.: «Не перо уже, а меч разрешит вопрос о том, которое из славянских наречий и которая из азбук станут всеславянскими. Потоками крови вырыты будут

очертания букв; где она всего обильнее прольется, там и возникнут общий язык и азбука всеславянская» [Он же. История славянских литератур. С. 949].

Особое место в творчестве Яна Коллара А. Пыпин уделял его знаменитому трактату «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими». Именно А. Пыпин заметил, что «брошюра Коллара получила очень большую известность в западном славянском мире; на нее не упускали ссылаться иностранные писатели... Это было новое явное доказательство действительного существования панславизма, открытая его программа, а для австрийских (немецко-венгерских) противников славянского движения эта книжка была настоящей уголовной уликой против славянских деятелей и прежде всего против самого автора» [Он же. Литературный панславизм. С. 615 и др.].

Кроме фигуры Яна Коллара А. Пыпин большое внимание уделял личности другого словацкого патриота – Людевита Штура. Он не только сам был автором заметок о Штуре, но и способствовал размещению в русских журналах публикаций об этом словаке.

Словацкий материал в работах российских историков чаще всего использовался как дополнительная аргументация при формировании концепций панславизма, а с другой стороны – для реконструкции полной картины славянского мира.

Т.П. Филиппова (Коми научный центр
Уральского отделения РАН, Сыктывкар)

Л.А. Тьер – историк французской революции конца XVIII в.

Французская революция конца XVIII в. – событие, являющееся одним из основополагающих в истории Нового времени, которое не только коренным образом изменило Францию, но и Европу в целом. На протяжении долгого времени она продолжает привлекать внимание исследователей.

Первые попытки изучения этого события во Франции относятся к первым десятилетиям XIX в. В этот период общественный интерес к истории, ослабевший во время революции, значительно возрос. Появляются новые имена, среди них известный французский политик, президент Франции в 1871–1873 гг. – Луи Адольф Тьер (1797–1877). Творчество этого историка в нашей стране является малоизученным.

Исследованию истории французской революции Л.А. Тьер посвятил большую часть своего творческого пути. Два многотомных труда историка «История Французской революции» (1823–1827) и «История Консульства и Империи» (1845–1862) освещают именно эту

проблему. История революции переведена на русский язык и издана в России в 1873–1877 гг. Из двадцати томов «Истории Консульства и Империи» российский читатель может познакомиться на русском языке лишь с первыми четырьмя, изданными в России в 1846–1849 гг.

Со времени издания работ Л.А. Тьера прошло более полутора столетий. С тех пор научная литература о Великой французской революции значительно расширилась. Тем не менее, труды французского историка не потеряли своего значения и сегодня. Во-первых, они были написаны, как говорится, по горячим следам событий на уникальных источниках (официальные государственные документы, переписка «великих» личностей, воспоминания современников). Во-вторых, эти работы, в отличие от многих исследований написанных позднее, содержат богатый фактический материал. В исследованиях Л.А. Тьера поставлены основные политические и нравственные вопросы французской революции.

Л.А. Тьер определил французскую революцию конца XVIII в. как великий переворот [Тьер А. История Французской революции 1788-1799. М.; СПб., 1873. Т. 1. С. 204]. Историк обозначил две группы причин революции – политические и экономические. Определяющими для историка стали политические явления, предшествующие революции. Можно выделить три основных аспекта в понимании Л.А. Тьером политических причин: во-первых, кризис политической системы Франции, назревавший в течение XVIII в., во-вторых, политика государства, в-третьих, противоречия между третьим и привилегированными сословиями [С. 101]. Экономическим причинам Л.А. Тьер отвел значительно меньше внимания. Самой главной он назвал большое количество и тяжесть налогов, которые приходилось платить народу [С. 102]. В подходе к пониманию причин революции у Л.А. Тьера присутствует некоторая односторонность – более пристальное рассмотрение политических причин, в отличие от экономических. Подход для того времени был актуален: буржуазия, интересы которой представлял Л.А. Тьер, пыталась оправдать свои политические права и свободы, поэтому естественно, что в оценке причин революции он обратился в первую очередь к анализу политических причин, нежели экономических.

У Л.А. Тьера оформился свой подход к периодизации революции. Рамками революции Л.А. Тьер считал 1788–1814 гг. Началом процесса для Л.А. Тьера стал кризис всех сфер жизни, который нарастал на протяжении всего XVIII в. и окончательно обострился к 1788 г. Концом революции историк считал 1814 г. – финал эпохи Наполеона Бонапарта. В развитии революции Л.А. Тьер выделил три крупных периода:

1. Восходящая линия революции (1788 – 27 (28) июля 1794 г.):

– 1788 – 10 августа 1792 г. – революция при дворе.

– 10 августа 1792 – 2 июня 1793 г. – начало республики, Национальный конвент.

– 2 июня 1793 – 27(28) июля 1794 г. – высший этап революции, диктатура якобинцев, террор и реакция.

2. Нисходящая линия революции (27(28) июля 1794 – 18 брюмера (9 ноября) 1799 г.) – Термидорианский конвент, Директория.

3. Монархическая или военная революция (18 брюмера 1799 – 1814 г.)

– 1799–1804 гг. – Консульство.

– 1804–1814 гг. – Империя.

Таким образом, Л.А. Тьер рассматривал историю Французской революции как единый процесс, шедший вначале по восходящей линии, затем по нисходящей. При этом историк рассматривал период Консульства и Империи неразрывно с историей Французской революции, считая ее продолжением этого исторического события. В эпоху Наполеона Бонапарта он видел сохранение и укрепление завоеваний революций. Некоторые современные исследователи склонны поддерживать периодизацию, предложенную Л.А. Тьером (В.Г. Ревуненков и др.).

Историю революции Л.А. Тьер рассматривал как борьбу классов. Французское общество ученый делил на три противоборствующих класса: привилегированный (высший), который состоял из дворянства и духовенства, просвещенный («средний») – среднее сословие и низший класс – толпа [С. 98]. Под просвещенным классом историк понимал, прежде всего, буржуазию, чьим интересам и была призвана революция. Основополагающий вопрос в концепции классовой борьбы историка – за что велась борьба. Она велась за власть, которая нужна была каждому из борющихся классов для защиты и реализации своих интересов, для сохранения или создания выгодного ему общественного порядка. Понимая принцип классовой борьбы, тем не менее, Л.А. Тьер не делал его основной движущей силой революции. Основным двигателем революции, с точки зрения Л.А. Тьера, являлись человеческие страсти. Самая главная страсть – желание свободы у всего французского народа, именно это и определило течение революции от начала до конца.

По-новому встал вопрос у Л.А. Тьера о выдающихся деятелях истории и их отношении к массам. Великим, по мнению историка, становился человек, который лучше других понял и выразил интересы своего класса, и возглавивший борьбу за них. На каждом этапе революции Л.А. Тьер выделял личности, которые, под воздействием закономерных обстоятельств, вставали во главе революции и вели ее вперед (Мирабо, Барнав, Робеспьер, Наполеон и

др.), выполнив свою миссию, они уходили с политической арены, уступив ее другим. Л.А. Тьер показал, что ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей, а совершается под воздействием скрытой необходимости. Тем самым Л.А. Тьер создал свою «фаталистическую систему», которая критиковалась современниками и последователями.

Л.А. Тьер является одной из ярких фигур истории XIX в. Своей деятельностью он оказал колоссальное влияние на общественное самосознание Франции. Немалую часть своего жизненного пути он посвятил истории, самой главной темой его исследований стала Французская революция конца XVIII в. Бесспорно, историческая концепция этого события, созданная французским историком в его трудах, повлияла на последующее изучение его, как во Франции, так и в России.

А.В. Хазина, Ф.В. Николаи (Нижегородский ГПУ)

Гендерные исследования как политика сообщества в работах Джоан Скотт

Джоан Скотт в отечественной историографии известна, прежде всего, как автор программной статьи «Гендер – полезная категория исторического анализа» (1986) и теоретик исследований гендерной идентичности. Однако подобный взгляд, сфокусированный на методологической составляющей ее текстов, несколько нивелирует их политическое измерение и потому нуждается в некотором уточнении. Как отмечает Л.П. Репина, главным вопросом для Скотт становится то, каким образом гендер и властный дискурс конституируют друг друга [Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Круг, 2011. С. 512]. То есть гендер – не просто нейтральная категория в рамках чисто академического изучения половой идентичности, символического уровня и нормативных учреждений. Гендер – неотъемлемая часть политических отношений. Однако кто выступает субъектом этих отношений?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к общей эволюции взглядов Дж. Скотт (насколько это возможно в рамках небольшого выступления).

В 1970-е гг. она начинала заниматься рабочей историей в духе «history from below». В монографии «Стеклодувы Кармо: французские мастеровые и политическое действие в городе XIX в.» (1974) Скотт пытается показать восприятие идей социализма в одной из ремесленных корпораций маленького городка на юге Франции.

Социализм здесь выступал не столько как идеологическая практика, сколько как поддержание своего статуса и сложившегося образа жизни конкретным *сообществом* мастеровых-стеклодувов.

В 1980-е гг. Скотт переключается на гендерные исследования. Ее главная монография этого периода (куда входит и упоминавшаяся программная статья о «полезной категории исторического анализа») – «Гендер и политика истории» (1988) – рассматривает гендерные исследования как важный этап в борьбе феминисток за изменение отношений между полами. У Скотт они выступают не просто как нейтральное академическое течение, но как дискурс угнетенного сообщества, отстаивающего свои политические права. «*Полезной*» категория гендера является именно в *политическом* плане и именно для *сообщества* феминисток.

В 1990-е гг. Скотт, как ни странно на первый взгляд, практически отказывается от самого понятия гендера и вновь говорит именно о женской истории. Так в работе «Предлагая только парадоксы: французские феминистки и права человека» (1996) исследовательница рассматривает специфическую реализацию прав человека во Франции после революции 1789 г., благодаря которой до 1944 г. правом голоса обладали только мужчины, а женщины были исключены из политической жизни. По мнению Скотт, в этом парадоксальном действии исключения вопреки декларации равенства и заключается суть либеральной идеи в эпоху модерна – она соединяет нацию через исключение Других. Каждое поколение феминисток во Франции пыталось по-своему преодолеть этот парадокс, отстаивая интересы своего *сообщества*. И гендерные исследования 1980-х гг. были очередной подобной попыткой. Однако уже в 1990-е гг. следующее поколение феминисток отказалось от использования понятия гендера, потерявшего ресурсы сопротивления и превратившегося в расхожее клише академического (властного) дискурса.

В 2000-е гг. Скотт идет еще дальше: в центре ее монографий «*Parité!* Равенство полов и кризис французского универсализма» (2005) и «*Политика вуали*» (2007) оказываются конфликты вокруг конкретных политических решений во Франции – исключения из школы трех арабских девочек за ношение головных платков и принятия в июне 2000 г. закона, согласно которому женщины должны составлять 50% кандидатов на любых выборах. Скотт считает, что эти действия стали результатом кризиса репрезентации, охватившего в 1990-е гг. все страны Западной Европы и США. Либеральная идея с 1789 г. была основана на идее представительства (в первую очередь, партийного, затем – классового) граждан в национальном масштабе. Однако в 1980–1990-е гг. на политическую сцену вышли новые

действующие лица – принципиально гетерогенные сообщества – арабы, гомосексуалисты и женщины. Общей чертой этих, казалось бы, совершенно разных социальных акторов стало требование пересмотра либеральной идеи репрезентации. Главный тезис Скотт здесь вновь напрямую касается идеи *сообществ*: границы между социальными группами (и конкретными людьми с их столь разными интересами) не устранимы, а такие объединения XIX в. как нация, класс и партия уже не способны найти общий язык с новыми социальными группами. Поэтому необходимы новые политические лозунги, новые термины, новые объединения и новые законы, которые бы смогли на практике (а не в рамках абстрактной универалистской риторики) согласовывать различия.

Таким образом, главной темой всех работ Дж. Скотт на протяжении 1970–2000-х гг. становится проблема границ и способов взаимодействия *сообществ*, причем не столько на культурно-символическом уровне, сколько в пространстве политического. С этой точки зрения, историк всегда вовлечен в некие социальные связи, начиная с поддержания статуса своего профессионального сообщества и заканчивая гендерными или национальными объединениями. И в этом смысле Скотт не столько повторяет лозунг «личное есть политическое», сколько подчеркивает перформативную политическую функцию сообществ – их способность не только объяснять мир (культурно и идеологически), но и изменять его: «Отголоски феминизма не всегда имели последствия, аналогичные землетрясению, но создавали самые разные толчки, волнения и исторические сдвиги как в пространстве, так и во времени. Мы ценим эти волнения, потому что лучшие из них провокационны и инновационны, парадоксальны и революционны. И они всегда оставляют следы на своем пути: иногда очевидные, иногда неощутимые, проявляющиеся как отклики и повторения на социальном, политическом и персональном уровне. Они изменяют само наше существование – как женщин, как граждан и как стратегических акторов, действующих в рамках своей ситуации, привнося изменения в свой мир» [Скотт Дж. Отголоски феминизма // Гендерные исследования. 2004. № 10. С. 26].

Т.Г. Чугунова (Нижегородский ГПУ)

Библейская история и современность в творчестве английского реформатора XVI в. У. Тиндела

Английский реформатор XVI в. Уильям Тиндел (1494–1536) считал Библию одним из самых достоверных исторических

источников. Священное Писание для него являлось не только Словом Бога, но и некоей исторической хроникой. Богослов часто сравнивает библейских писцов и фарисеев с современным ему духовенством, говоря: «Наши писцы и фарисеи...». Современные прелаты, по его мнению, ведут себя точно так же, как ветхо-и-новозаветное духовенство, имея лишь новые титулы и предметы одежды [Tyndale W. *Practice of papisticall Prelates // The Whole works of W. Tyndall, John Frith and Doct. Barnes, three worthy Martyrs and principall teachers of this Church of England collected and compiled in one tome together, being before scattered now in print here exhibiten to the Church / Ed. by J. Foxe. London: Printed by J. Daye, 1573. P. 340*]. Сравнение – один из излюбленных методов описания событий английским реформатором. Изображая противоположных персонажей Ветхого Завета: Каина и Авеля, Измаила и Исаака, Тиндел намекает на противостояние между папистами и реформаторами: «Будет в церкви плотское семя Авраамово и духовное, Каин и Авель, Измаил и Исаак, Исав и Иаков, работник и верующий, великое множество званых и малое стадо избранных. И плотское воспреследует духовное, как Каин Авеля, Измаил Исаака и так далее, и великое множество будет преследовать малое стадо, а Антихрист будет лучшим христианином» [Tyndale W. *An Answer into Sir Thomas More's Dialogue // Ibid. P. 291*].

Иллюстрации Тиндела состоят из сопоставления отрицательных и положительных исторических и библейских персонажей. Например, он утверждает, что ни Моисей в Ветхом Завете, ни ученики Христа в Новом Завете не служили ради награды в отличие от сегодняшнего духовенства. Богослов считает, что как израильтяне в древние времена испрашивали своих духовных лиц, опираются ли те на закон Божий, так и современный христианин должен соотносить практику и доктрину католической церкви с библейскими канонами [Id. *The Obedience of a Christian man and how Christian rulers ought to governe // Ibid. P. 139, 177*]. Тиндел рекомендует своим читателям ничего не делать без Священного Писания, ибо «что сделано без Слова Бога, то идолопоклонство» [Id. *The Parable of the Wicked Mammon // Ibid. P. 86*]. Ссылаясь на истории Ветхого Завета, изображающие преследование сыновей Божиих, он приравнивает к ним нынешних преследуемых властями и католической церковью реформаторов, имея в виду и себя в том числе. Несмотря на все опасности, Тиндел предупреждает своих сторонников не оставлять Слова Божия, ссылаясь на совет Христа апостолам в Евангелии от Матфея, 10:19: «Когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, потому что в тот же час дано будет вам, что сказать» [Id. *The Obedience of a Christian man. P. 141*].

Используя библейские примеры, Тиндел пытается дать анализ современному и предыдущему курсу английской внутренней и

внешней политики, а также объяснить многие события европейской средневековой истории. Так же, как израильтяне испытали бедствия (изложенные во Второзаконии), нарушив Завет с Яхве, англичане перенесли гражданскую войну ради утверждения их законного короля Ричарда II [Id. An Exposition upon the V. VI. VII chapters of Matthew Gospel // Tyndale W. Expositions and Notes on Sundry Portions of the Holy Scriptures together with the Practice of Prelates / Ed. by H. Walter. Parker Society. Cambridge: The University Press, 1849. Vol. 43. P. 53]. Реформатор сопоставляет современных правителей (духовных и светских) и с реальными историческими личностями. Так, например своего современника английского кардинала Томаса Волси он сравнивает с Синоном, предавшим Трои, а также уподобляет его римскому понтифику Бонифацию III, правившему в VII в. и добившемуся от императора Фоки титула главнейшего из всех епископов [Id. Practice of papistical Prelates // The Whole works of W. Tyndall. P. 347]. Реформатор надеялся, что его обращение к примерам из древней истории позволит правильно решить вопрос о разводе короля Генриха VIII, вызвавший огромный резонанс в английском обществе. Так, в трактате «Практика прелатов» он предупреждает короля не игнорировать «открытой правды истории», совершая тем самым непростительный грех против Святого Духа. Примечательно, что у этого трактата есть еще подзаголовок: «Может ли его королевское величество развестись с королевой по причине того, что она была женой его брата». Правильный ответ на этот вопрос лежит, по мнению Тиндела, в текстах Священного Писания. Реформатор пытается убедить Генриха VIII, что было бы богохульством неправильно читать историю и Слово Бога. Обращаясь к книгам Левит 18:16 и Второзаконие 25:5, он указывает на то, что запрещается вступать в брак только жене живого брата или жене брата, имеющего ребенка, что не относится к ситуации с Генрихом VIII. Однако рассуждения Тиндела не смогли изменить мнения короля. В «Практике прелатов» реформатор настаивает на изучении Священного Писания как исторического источника [Id. Practice of Prelates. Whether the kinges grace maye be separated from his queen be cause she was his brothers wife // Tyndale W. Expositions and Notes on Sundry Portions of the Holy Scriptures. P. 237, 243, 323]. Настоящее и прошлое, современная и библейская история объединяются в его представлении в единое целое, и в своем апокалиптическом заключении он предостерегает: «И не говорите о том, что я вас не предупредил» [Tyndale W. Practice of papistical Prelates. P. 377].

Отдавая предпочтение библейским текстам, Тиндел выражал недоверие историческим хроникам. «Верьте Священному Писанию, – рекомендует он своим читателям, – но не рассказам о Робин Гуде,

«Деяниям римлян» или хроникам». Реформатор утверждал, что духовенство извратило или уничтожило часть хроник для сокрытия своих злых дел. Многие хроники, по мнению реформатора, изначально были написаны необъективно, из них были вычеркнуты нелестные отзывы летописца о духовенстве [Id. The Obedience of a Christian man. P. 176, 181]. Несмотря на манипуляции духовенства относительно хроник, Тиндел все же находит немало примеров, иллюстрирующих их «делишки» и дает читателям полный отчет об их махинациях.

Таким образом, Тиндел не отвергал историчность библейского повествования, напротив, он относился к Библии с большим доверием, чем к любым другим древним трудам, содержащим исторический материал. Английский реформатор не был историком в современном смысле этого слова, он, прежде всего, являлся теологом-интерпретатором истории. С помощью Библии Тиндел пытался ответить на многие вопросы современной ему истории, соотносил конкретные исторические события с библейскими аналогиями. Весь смысл исторического процесса у него сводился к противостоянию веры и неверия, божественного и мирского, святости и греха.